

УДК 792.2.071.2(470)

ББК 85.334.3(2)6-8

Б27

Фотография на обложке: © Yury Pilipenko / Russian Look

Оформление переплета *Н. Ярусовой*

Басилашвили, Олег Валерианович.

Б27 Неужели это я?! Господи... / Олег Басилашвили. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 384 с. — (Жизнеописания знаменитых людей).

ISBN 978-5-699-90795-3

Народный артист СССР Олег Басилашвили впервые вышел на сцену в 1956 году и продолжает оставаться действующим артистом.

Его популярность невероятна. Несколько поколений театралов и кинозрителей считают Басилашвили одним из лучших артистов России.

В книге воспоминаний Олег Валерианович рассказывает о своих корнях, о работе в театре и кино, общественной деятельности, о личной жизни. Рассказывает изящно, талантливо, с юмором.

УДК 792.2.071.2(470)

ББК 85.334.3(2)6-8

ISBN 978-5-699-90795-3

© О.В. Басилашвили, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

МАРИНИКЕ
с любовью

Вместо предисловия

Иду я по большой дороге,
А навстречу везут навоз.
О!! Когда же эти дроги
Заменит электровоз...

Да, иду я по Загородному проспекту Санкт-Петербурга, иду к дому, иду из магазина. В одной руке пакет с картошкой, капустой, в другой — с хлебом, сыром и т. д.

Бормочу автоматически, бормочу вслух эти строки поэта двадцатых годов, они сами забормотались, видимо, под влиянием окружающей безрадостной картины...

Серая, в пятнах, простыня неба, грязный асфальт, обледенелые плитки тротуара, ледяной черный ветер порывами со всех сторон...

А вот витрина булочной. В ней забавная кукла булочника — лежит, спит себе, и живот от дыхания вверх-вниз, вверх-вниз... А это кто такой там отражается в стекле? С двумя пакетами, согбенный и безрадостный?

Ба! Да это ты, Олевек! (Так Александр Белинский, любимый мой режиссер, ласково именует меня, ну а поскольку у него нелады с произношением некоторых букв, то и получается не «Олежек», а «Олевек».)

Да, это я. Это я, Олевыйк! Это я, Фифенька (то есть «Сашенька» — это я отвечаю воображаемому Сашеньке Белинскому).

Это я — вон там, в витрине, сутулый старик с пакетами, мучимый артритом, колитом, тендовагинитом, мозолями и ненужными мыслями. Давно за семьдесят — это вам не бык на палочке! Все! Ты уже не с ярмарки едешь, ты уже приехал, давно приехал, и яблони, с которых белый дым, давно вырублены, и пни сгнили.

Ну что, старик? А если нижнюю губу вперед, а верхнюю заглотить — вот и полная картина: шамкающий безумец в витрине бормочет: «О! О! Когда вз эти дроги, дгоги... эвэктвовоз...»

Стоп!! Ты уже вслух!

Стоп! Маразм! Выпрямись! Плечи назад! Живот втянуть! И — быстро, прямо, энергично... легко!! И — пошел! Па-а-шол!

Иду! Боже, а женщины-то, женщины! Ни одной старухи! Молодые, жаждущие! Без детей, с детьми, с внуками! Все молодые, идут быстро, обгоняя меня...

Позади шепот:

— Он! Он! Я узнала!

— Да не-ет...

— На спор! Он!

Узнали. Узнали, черт бы их побрал!

Ну да, я ведь вчера играл «Калифорнийскую сюиту»! А позавчера — «Копенгаген»! И ведь неплохо играл, черт возьми! А то, может быть, и по телевизору... Спину прямо держать! И — главное, главное — туман в глаза, внутреннюю углубленность, иллюстрирующую богатство души и — простоту, простоту — да, да, это тоже важно, несмотря ни на что, на популярность и уважение — я прост, прям, доступен...

Молодой, румяный, черноглазый, улыбается, забегая вперед, встал передо мной:

— Извините!! Это — вы?!

Я — несколько усталый, но добрый взгляд:

— Да... это я... (и улыбка всепонимающая).

— Он!! Я говорил! — И уже мне непосредственно: —
Это ведь вы выступали в рекламе пива студенческого?

Да, вот это удар. Ниже пояса.

Был грех — снялся я в рекламе этого пива. Десять дублей. Тяжело опьянел. С тех пор не то что пить, но и видеть рекламу пива по ящику — подступает тошнота... Да и давно это было — в начале девяностых!

«Калифорнийская», «Копенгаген»!! Ты еще «Дядю Ваню» и Хлестакова вспомни!! Эх ты, старый тщеславный маразматик! «Копенгаген» тебе!

И опять иду сквозь питерскую грязь и мглу с тяжелыми пакетами, шаркая ножками, а меня обгоняют все — молодые, шестидесятилетние...

На память пришло, как собрались мы в Третьяковку: я с дочками, Олей и Ксюшей, и Мишей, Ксюшиным мужем. Идем не спеша по моим любимым залам. Но чуть остановимся у какой-нибудь картины, чуть я начинаю дочкам объяснять, в чем прелесть ее, — тут же раздастся: «Олег Валерьяныч! Дайте автограф!». И так раз за разом. Зверею. Не дают насладиться: мы ведь редко видимся, а тут — все вместе, да еще в моей родной Третьяковке! — и: «Дайте автограф, у вас ручка есть?» На бумажках, билетах, а то и на деньгах...

И вот стоим мы перед картиной Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но я уж картины не вижу. Чувствую позади дыхание жажущих автографа. Гнев закипает. Оборачиваюсь: точно!! Человек десять молодых людей с блокнотами и ручками наготове.

Я говорю:

— Ну вот что. Уберите ваши блокноты и ручки! Оставьте меня в покое!! Я же человек, в конце концов!!!

А они в ответ:

— Да вы что, мужчина! Совсем уже?.. Мы за экскурсоводом записываем!

Позору было! С тех пор, делая усталые глаза, даю автографы. Всем. На деньгах, паспортах, обрывках туалетной бумаги...

Ясно, что я человек довольно гнусный.

Ну, чтобы помягче — тяжелый. Что называется «синия жылы».

Ну, к примеру — жду, когда кто-нибудь допустит оплошность. Забудет, скажем, выключить свет в кухне. Или в туалете. И у меня наступает праздник души. Нет, не то чтоб мне становилось от этого легче, радостнее, нет, просто нарыв тяжести раздувается и лопается, и раздражение низвергается на близких, допустивших «faux pas»...

Мне иногда даже кажется, что они меня побаиваются. Но этот страх ничуть не мешает им оставлять после себя грязную посуду, забывать ключи от дома, приглашать гостей целую кучу и кормить их с утра до ночи, превращая дом в некое подобие постоянного двора с мусором по углам, хлебными корками на столе, рюмками со следами губной помады.

Правда, если взглянуть на себя со стороны, я тоже оставляю желать лучшего. Я не говорю о мелочах типа: «Где мои очки, черт бы вас всех побрал?», а очки лежат в туалете, оставленные там мной после чтения «Тропика Козерога» Генри Миллера. Или: «Где, где ключи?» — а ключи я оставил на ночь торчать снаружи в дверях.

Да, это признаки надвигающейся старости, а может быть, и вернее всего — наступающего маразма. Вот, например, не мог вспомнить, чем автомобиль приподнимают, меняя колесо: гиппократ?! дармштадт?! Де...ди... Пришлось остановить грузовик. «Тебе чего, дед, что случилось?» — спросил водитель грузовика. «Да ничего особен-

ного, просто забыл, как эта штука называется». — «Домкрат, ёптмать. И все?!»

Да, пока все. А до маразма еще далеко. Ой как далеко. Это я льщу себя надеждой.

И вот передо мной задача — написать Memoires. Это по-английски. Мемуары то есть по-нашему.

Вообще-то я твердо убежден, что сесть за мемуары надо, точно уловив момент — работать уже не можешь (не «не хочешь», это я давно, с детства не хочу), именно не можешь, но еще кое-что помнишь. То есть когда маразм еще не оккупировал полностью твою память. То есть попасть в этот тоненький зазор между бессилием и полным маразмом.

Кто угадал — тот выиграл. Молодец! Попал вовремя. В точку. В Memoires многих авторов налицо либо торопливость, свойственная деятельному работяге, либо глыбы красивой болезни Альцгеймера, заслоняющие от автора логику и суть его жизнедеятельности.

Теперь второе. К несчастью, а может, к счастью, люблю приврать.

Например, почему-то до сих пор я убеждаю всех, что мой дед Ношрewan Койхосрович в Грузии, в Горийском уезде, когда-то очень давно арестовал двух бандитов. Их клички — Камо и Коба. Коба — это Джугашвили, в дальнейшем, как многим известно, Сталин. Дед тогда служил в полиции. Арестовал он разбойников и доставил их в Тифлис. Там Кобу посадили в Метехи — замок, где была тюрьма, в камеру с политическими — так и сейчас часто делают: сажают политического и бандита в одну камеру, бандит издевается над политическим, унижает его, и несчастный политический сломлен, готов подписать любое признание, лишь бы вырваться.

А тут наоборот произошло.

«Что же ты это грабишь, генацвале, нехорошо это!» — сказал политический. «А, ненавижу всех этих богатеев, мать их пети!» — отвечал Коба.

«И правильно, правильно делаешь, что ненавидишь, и правильно, что грабишь, только грабить надо во имя революции, для народа, генацвале, для партии трудящихся. Вступай, да? в партию большевиков, будем вместе грабить для народа! Ступай-ка ты в партию, в люди, да?!»

И пошел Коба в люди.

И сделал неплохую карьеру. И получается, что это мой дед во всем этом виноват.

История со Сталиным — может быть, чья-то или моя выдумка, но она почему-то стала реальностью, что тут поделаешь.

Или футбол. Где-то конец сороковых — начало пятидесятых. Я в детской команде «Динамо». Тренировка. Я — вратарь. Мой бог — Алексей Хомич, вратарь московского «Динамо». Крепко сбитый, пружинистый, чуть сутулый, коротко стриженный, почти «под ноль». Прозванный в Англии во время послевоенного динамовского турне «тигром».

Рассказывали, что на приеме у королевы та будто бы пожелала услышать спич в исполнении этого футбольного гения. Он встал и произнес:

— Леди и гамильтоны!

Изумленная пауза. Занавес.

Итак, мы, юные динамовцы, кончаем тренировку. На поле выходят взрослые Бесков, Карцев, Малявкин, Бобров...

Я прошу великого Боброва: «Дядя Сева, стукните мне, пожалуйста, с одиннадцати метров, только точно в девятку!».

Он, усмехнувшись, бьет. А у него удар был пушечный, неберущийся.

Ударил. Мяч со свистом пошел в верхний левый угол.

Но я, дотянувшись до него в броске, запутался в сетке ворот, куда меня внес мяч, пущенный гением футбола.

Вот это все — вранье от начала до конца.

Да, в футбол я играл. Во дворе. И вратарем стоял, сутулясь, подражая Хомичу (сутулость моя оттуда). Но не было ни детской команды «Динамо», ни тренировки с Бобровым... Просто я всегда обожал «Динамо», был его страстным болельщиком. О бело-голубые, мои боги!!

Что я знал тогда об их эмгэбэшной принадлежности, об интригах Берии против «Спартак»... Просто я был очарован бело-голубыми, их филигранной игрой, техникой, яркими индивидуальностями...

Кто болеет за «Спартак» —
Тот мудила и дурак —

это я начертал мелом на черной лестнице нашего дома на Покровке в пику Витьке Альбацу, соседу, болельщику «Спартак».

Бабушка увидела. Скандал! Позор! Заставила все это стереть. Стыдоба, в общем... Вот это — правда. Это — было.

Все вышенаписанное должно было быть только предисловием к моим Мемоires. Но затянулось. И ясно, что к старческой лени, маразму и желанию приврать добавился еще один порок — неудержимая болтливость.

Простите. В дальнейшем буду сдерживаться. Самоограничиваться. Все!

Итак, начали.

«Я родился в...»

Помните, у Чехова один такой же пенсионер садится за стол с твердым намерением начать писать? Первая

фраза, ее начало: «Я родился в...» — и тут же сразу раздаётся вопль кого-то из домашних — зовут — приходится все бросать и идти на зов...

Итак: «Я родился в...»

Прислушиваюсь. Ну! Зовите! Тишина...

Да, оказывается, это очень трудно — заставить себя сесть за стол и начать.

С чего?

Как?

Да и кому интересна эта моя жизнь?

Но — «недаром столько лет свидетелем Господь меня... (заставил? сделал? назначил?)». Да, что-то уж очень как-то самоуверенно это выходит: «Господь — меня» — ну да ладно: ведь я действительно был свидетелем очень многих событий. И — «когда-нибудь, кто-нибудь...».

Итак — свисток!! Начали. То есть что это я?! Какой свисток? Звонок, конечно.

Итак — звонок!! Начали! (Занавес пошел!)

Я родился в Москве 26 сентября 1934 года.

Моя мама, Ирина Сергеевна Ильинская, будучи воспитана своими отцом и матерью в спартанском духе, а к этому духу добавилось еще и пролетарско-коммунистическое мировоззрение, с которым мама вышла из школы-коммуны, где училась, пошла рожать меня в родильный дом на Покровке. В «Лепёхинку» — так называлось это учреждение. Пошла самостоятельно, одна. Мест для рожениц не было, и маму поместили на кровать для буйных — в клетку, под замком. Хотя никакого буйства мама не проявляла. Короче — вот в этой самой «Лепёхинке», в синем доме с колоннами (москвичи прозвали его «дом-комод»), принадлежавшем ранее князьям Трубецким, я и появился на свет.

Первые впечатления

Как ни странно — вижу, как на террасе общежития политехникума связи, где работал папа, в Пушкино, он тиска-ми привинчивает к столу елочку: Новый год. Темно, за окнами снег, снег... И фраза: «Разрешили елку» впечаталась в память... А это 1935 год — мне всего-то годик...

А вот более позднее воспоминание.

Просыпаюсь — и тут же крепко зажмуриваюсь. Посреди комнаты в лучах утреннего праздничного солнца стоит нечто прекрасное, сияющее никелем, брызжущее ярким светом, ослепляющее...

Сквозь крепко зажмуренные веки плывут яркие пятна, звездочки. Из открытого, видимо, окна доносится ликующий рокот толпы, бухают оркестры, мелодии перемешиваются, сливаются в стройную разноголосицу...

Праздник! Первое мая!!

Открываю глаза...

Нет, это не сон!

Велосипед! Он стоит недалеко от кровати, это его никелированный руль, ободья колес, спицы слепят ярким солнцем. Синее небо сияет...

Потом мы с папой спускаемся вниз, к Москве-реке по Покровскому и Яузскому бульварам.

Я еду на своем велосипеде и звоню, звоню...

На набережной, у Воспитательного дома много народу. Люди стоят на тротуаре, встречают войска, идущие с парада на Красной площади.

Я устроился на решетке ограды, посаженный папой. Что-то тяжелое грохочет по мостовой.

Где папа? Я в панике: исчез папа!

Да нет, вот он, вот!

И мы опять по бульварам, на велосипеде, со звонком поднимаемся к нашей Покровке.

Это — 1 мая 1941 года.

Навсегда в памяти осталось подмосковное Пушкино с его грибами, березами, голубой Учой, плавно проходящей под высоченным мостом, по которому мчались, весело гудя, синие электрички. Пушкино, с сачками для бабочек, со сладчайшими леденцами-петушками на палочках, с мороженым в круглых вафельках, с кинотеатром, где показывают «Золотой ключик», — здание деревянное, старое, с резными украшениями, с красивыми балконами под потолком. А на другом конце городка — узенькая речка Серебрянка и ярко-голубые стрекозы, застывшие над ней; жарко, в воде толстые речные лилии пахнут, словно шоколад...

«Синяя птица»

Еще до войны я был в Художественном театре.

Допустим, это был 1941 год: январь или февраль. Но мне кажется, это было раньше. Итак, мне шесть-семь лет. Мама привела меня на «Синюю птицу» во МХАТ.

Спектакль я помню отчетливо. Поразило меня Царство Ночи, с Ужасами, которые вырывались из пещер, Призраками, бродящими в полутьме. Помню, как заколотилось сердце, когда распахнулась стена, засияло голубое небо и птицы... тысячи птиц замелькали белым в этом небе.

Помню грусть (откуда бы взяться грусти у меня, шестилетнего пай-мальчика?), которую вызвала у меня Страна Воспоминаний, медленно возникающая сквозь дымку, с домом-треугольником, как на детской картинке. Золотистые лучи по бледному небу...

«Прощайте, прощайте, пора вам уходить...»

Даже сейчас, когда я вспоминаю это, подступают слезы.

Вот так я стою на Ваганьковом у могил деда, папы и мамы; камень безмолвный, тишина... Но ждут дела, суматоха... «Пора вам уходить...» У мертвых тоже свои дела, своя жизнь, таинственная, ей не надо мешать... «Пора вам уходить...»

Когда после спектакля мы вернулись домой, в нашу милую квартиру на Покровке, вдруг для меня наполнились новым содержанием самые обычные предметы на кухне. Вот отчетливо я вижу старую нашу, еще дореволюционную, раковину с пятнами ржавчины, слышу, как раздается металлический звук падающей капли, а я все стою и жду появления Духа Воды. Горит огонь в плите, уютно потрескивают дрова, а я вспоминаю, как плясал в тот день Дух Огня...

Сейчас мне семьдесят шесть лет. Стало быть, семьдесят лет назад моя мама привела меня за руку в Художественный театр. А я все помню в подробностях. От самого здания и особенно от зрительного зала осталось ощущение необычайного уюта — поблескивание полированных ярусов, полумрак, в котором светились матовые кубики...

Много раз потом я был в Художественном. Он даже стал на какое-то время моим родным домом, я даже мечтал — глупые мальчишеские мечты! — что, вот если начнется война, я буду с пулеметом защищать мой милый театр. Даже если все взрослые разбегутся, я один стану защищать театр!

С тех пор я видел все спектакли той поры (1948–1959). Обожал, боготворил актеров. Да и было за что... Но то, первое посещение МХАТа — с мамой — как-то особенно врезалось в память: видимо, незнакомой мне тогда атмосферой старой Москвы, которая еще витала в Художественном и создавала свой особый микроклимат, домашний, уютный, располагающий к доверчивости и

добрю. Во всей Москве ничего подобного не было, а здесь, как в чудесном ларце, в котором когда-то хранились благовония, что-то напоминало и живо говорило о былом. Даже и в пятидесятые годы.

Во время Московской Олимпиады, в 1980 году, забрел я как-то во МХАТ, где тогда шел капитальный ремонт. Снаружи вроде бы все по-старому. Внутри — ужас запустения... Тьма, битый кирпич, проволока цепляется — и пыль, пыль, пыль...

Тот самый зал, где мы с мамой когда-то были на «Синей птице», был мертв, взломан, поруган. Тишина, тьма, набухший и грязный паркет в пыли, сочится во тьме и глухой тишине вода — кап, кап... как тогда у нас на кухне, в раковине... Шаги гулко отдаются в пустом, без кресел, в досках и грязи зале.

Я, стоя посреди разрушенного зала, крикнул в темноту:

— Bravo! Спасибо!

Тишина.

И ничто больше не напоминает о старой Москве...

Смерть. Конец.

22 июня 1941 года

Брызги солнца на ресницах. Синее-синее небо. И, наверное, оттого, что мы с мамой отправились на утренник в кинотеатр «Колизей», — радостное чувство праздника. Купаясь в солнце, мы подходили по Чистопрудному бульвару к «Колизею».

За его ротондой, в правых дверях собралась небольшая толпа. Мы подошли поближе. Контролерша в темном платье говорила, что только что по радио передали о нападении Германии на СССР.